

Юрий КУЗИН

«ЁЛОП»

Я взглянул на часы — массивный командирский брегет, болтавшийся на моём узком запястье. Я купил его у Гошки, соседа по парте, разбив копилку о дверной косяк. Целый час мы выстраивали полки из медяков, а расплатившись, я отдал приятелю и альбом с марками, ведь часы, как оказалось, ещё и светились в темноте.

— Хочешь секрет? — загнал меня Гошка в кладовую и, погасив ночник, поднёс «командирские» циферблатом к моим глазам. — Гляди, как горят.

— Ага...

— А почему, знаешь?

— Батарейки?

— Балда... Плавники это удильщика глубоководного... Их в Марианской впадине по пальцам пересчитать.

— Подумаешь, — скривился я, прикидывая: во что мне обойдётся эта вещица.

Но то было год назад. А сегодня я был полноправным хозяином луковицы — водостойкой, не бьющейся, с гравировкой «СССР» на нержавеющей корпусе.

Стрелки указывали на пять утра.

Тихо, как вор, я стянул шорты со спинки стула и, натягивая их, пританцовывая на одной ноге, подошёл к окну.

Утро теплилось, но даже в этой грохочущей синеве я видел, как пляшет моя грудь — впалая, как у дистрофика, — и в ужасе подумал: «А что если я умру? Что если и сердечко моё вот так же пустится в бега?»

Холод половиц обжёг пятки, и я подумал, что было бы глупо простудиться в такой день. Но больше, чем свалиться с температурой, я боялся, что мысль о «драконе» выскользнет из моей головы и покатится по комнате, гремя и подпрыгивая, как пятак. Я знал, что трезвон разбудит мать и что, заспанная, неумытая, со свалявшимися волосами, она обрушит на мой остриженный лоб свою натруженную руку. Вот тогда всё коту под хвост. Вот тогда-то душа моя и предстанет перед её суровым взором ворохом наспех сшитых страниц. Всё, что я впишу в этот блокнот, все мои каракули, мать расшифрует и пронумерует. Она прочтёт меня: от корки до корки. Она узнает всё о побеге, который я затеял, и о доме в тени старых лип, куда цыгане привезут «дракона» этим майским утром и где меня напрасно будут поджидать грузчики. Я знал, что если мать посадит меня под замок, пяткам моим не сверкать у дома тётушки, когда «змия» станут поднимать лебёдками на второй этаж. И тогда пиши пропало, тогда мне не увидеть, как чумазы, полусонные грузчики, чертыхаясь и пыхтя цигарками, зажатые между кривыми и редкими зубами щербатого рта, впихнут «трёхпалого» в окно, не услышать проклятий, которыми «лежебока» станет сыпать при каждой царапине на его смоляной, как воронье перо, чешуе.

Я топтался у двери, ни жив, ни мёртв, боясь, что мысль, обронённая мной, разбудит квартал. Но мать даже не пошевелилась, когда, взобравшись на табурет, я стянул с гвоздика ключ и вставил бороздкой в замочную скважину.

В шесть я выбежал из дома. А без четверти семь «КамАЗ» с «рептилией» нагнал меня у ворот парка, куда я юркнул, чтобы срезать путь.

Мы двигались ноздря в ноздю. Но то ли от недосыпа — всю ночь я таранился на часы, — то ли от немоги — весной губы мои покрывались авитаминозными корками, ресницы спутывала дрема, а фантазия пускалась во все тяжкие, — но, очутившись в медвежьем углу парка, я впал в ступор. Я не знал: метаться ли в поисках выхода или упасть ничком на чёрную, пахнущую перегноем клумбу, пока бодрый милицейский пёс не уткнётся холодным, шершавым носом в моё бледно-землистое лицо. Страх стреножил волю, но и придал сил. Я стал плутать. А когда озябший, с разбитыми в

кровь коленками я очутился у особняка, взятого под стражу голыми, почерневшими за зиму липами, хвост ящера уже торчал из балкона, как вымазанный в чернике язык, которым гигант, казалось, дразнил меня за нерасторопность.

Подойдя к дому, я заревел: громко, протяжно, точно баржа, севшая на мель.

— Юрка! Ты, что ли? — я увидел на балконе силуэт тёти Шуры, обрамлённый слепящим светом, а спустя минуту, полногрудая, сияющая, она возвышалась над моим карликовым тельцем.

— Уже внесли? — спросил я сквозь слёзы.

— Уже, — ответила она. — Такой нам тут цирк устроил, проказник, что и не передать.

Тут тётушка крепко обняла меня, всхлипывающего и шмыгающего носом, и я почувствовал жар от её плеч, квадратных и сутулых, какие бывают только у пловчих, бравших золото в юности.

— Ну, довольно, хватит, — с упрёком сказала она. — Мне тут расплатиться нужно. Рабочие ждут. А ты дуй-ка к мамке. А вечером приходите. На смотрины. Я такую кулебяку испеку.

Я с недоверием уставился на неё. Тётушка улыбнулась, а затем насупилась, но не взаправду, а понарошку.

— Ну, так ждать тебя на пирог или нет? — спросила она сухо, выждав паузу.

— Ждать, — я кивнул.

Домой я летел, как на крыльях. А домчавшись, выложил всё, как есть, матери. И про «КамАЗ». И про «трёхпалого». И про смотрины.

Мать слушала молча, нервно вздыхая при каждой подробности, которыми я расцвечивал свой рассказ. К полудню она вся извелась. А в три, несмотря на обеденный час, мы стали ломиться к тётушке. Дубовую дверь, обтянутую алой кожей, оббитую медными гвоздиками, с узким, как книжный обрез, окошечком для газет и журналов, открыли не сразу. Без парика и перстней, сжимавших её убитые артритом пальцы, сестра матери была похожа на осыпавшуюся ёлку, порыжевшую, с обрывками конфетти, которую воткнули в мартовский сугроб. Закрыв на цепочку дверь, тётка попеняла матери за «набег», который уж точно сократит жизнь каждому, ведь хуже, чем внезапный визит, может быть только смерть — вот уж кому плевать на приличия. Нам позволили войти в столовую, где за обеденным столом, облепив его, как осы головку мёда, сидели, нахмурившись, дядя Рубен и три мои кузины.

Покончив с супом, я выбежал из-за стола. «Гад» томился в гостинной. Я вошёл. Я хотел лишь приглубить эту «тварь».

Дверь распахнула Женька: «Стейнвей» был куплен ей. Впрок куплен, чтобы завидовали.

В белом платье, с алыми бантами в косичках, наглядка преградила мне путь к роялю. А потом буркнула:

— Чул, не лапать!

Прижимистость была их семейной чертой. Обычно меня выдворяли из всех шести комнат, чтобы уберечь от праздного любопытства, к которому, как считалось, я был склонен. И верно, я во всё совал свой нос. Но интерес мой к миру был философским. Я познавал Мир на ощупь. Я клал Мир на зуб, а распробовав, терял интерес к его терпкому ядрышку. Вот и сейчас, войдя в гостиную, я лишь хотел почувствовать кожей музыку, — а зачем ещё, спрашивается, нужны клавиши, как не для пальцев, на кончиках которых мелодия вьёт гнёзда и даже выводит птенцов?

Я сделал шаг к роялю.

— Стой! — Женька вперила в меня взгляд, острый, как коготок птички, которым охотница выковыривает личинок из-под коры дуба. — Ты куда это соблался?

— Туда, — я выкинул вперёд руку, как Наполеон, вззирающий на Москву с Воробьёвых гор.

— Глупый ты, Юлка! — наглядка топнула, да так громко, что в чешском серванте задребезжал фаянсовый сервиз. — А есё — дулак!

— Это почему же?

— Да потому! — разбойница ткнула меня пальчиком, да так яростно, точно хотела проделать во мне дыру. — И вообще, — продолжила, — сколо тебя в интелнат сдадут. Для силоток. Там питание тлехлазовое. И лезым...

Она упёрла ручки в бока.

— Не «лезым», а режим, — поправил я сестрицу. — Только врѣшь ты всё, Женька.
 — А вот и не влугу, — тут сорока прильнула своими влажными, пахнущими карамелью губками к моему зардевшемуся уху и произнесла заговорщицким тоном: — Мамака твоя муза себе подыскивает. Не пьюсего. А ты месаес».

Дверь с шумом распахнулась. Мы обернулись. Па пороге, скрестив на груди руки, стояли обе наши мамы. Загорелая, поджарая, как прогорклый корж — тѣтушка. Пухленькая, рябая, как булочка с кунжутом — мать.

— Ну — ка, мелочь, — тѣтушка отвесила подзатыльник дочери, — марш на кухню тарелки мыть.

— Нет уж, пусть договорит, — возразила мать. — Хочу послушать, чему ты, сестра, учишь племянницу.

— Прекрати, Варвара! — тѣтушка зажала плачущей Женьке рот, чтобы та не сболтнула лишнего.

— И верно, пора уж прекратить, — мать схватила меня под локоть и поволокла в коридор. — Ноги моей больше не будет в доме, где только и речи, что о деньгах.

Она наспех одела меня, долго искала носки, но, не найдя, вывела меня из дома в сандалиях на босу ногу.

— Взбалмошная! — тѣтушка швырнула нам с балкона носки. Но мать тащила меня за руку, не оглядываясь, точно буксир, снявший баржу с мелководья.

Месяц мы не общались. Мать ждала извинений. Но телефон молчал. Мать даже отнесла его в мастерскую в надежде вправить вывихнутый сустав или наложить шину на сломанную кость — виновницу семейных склок. Но тѣтушка, похоже, и не собиралась названивать. Так прошёл месяц. А к концу третьего, бодрая, розовощёкая, мать внесла в нашу узкую, как пенал, комнатку продолговатый футляр.

— Вот, держи, — она открыла ящичек, обтянутый дерматином, достала из чёрной бархатки скрипочку и протянула мне. — Концерты давать будешь. По радио. А там, глядишь, и в телевизор пригласят. Хочешь, Юрка, в телевизор? — тут мать рухнула в соломенное кресло, жѣсткое, обтянутое белым чехлом, и сказала, смахнув слезу: — Ведь для чего-то же я рожала тебя в муках.

С «мук», собственно, всё и началось. Мои беды, я хотел сказать. Ведь школа, куда определила меня родительница, ютилась в каком-то цеху, и очень скоро в раздевалку, где я стоял у попитра, стали наведываться литейщики в просаленных бушлатах и с цигарками в зубах.

Мрачный и сырой, с окнами, забранными решётками, класс напоминал камеру инквизиции, в которую нас, первоклашек, на Пасху водили учителя.

Два раза в неделю я спускался в этот «ад», где меня «поджаривали на сковороде, поливая маслом до хрустящей корочки».

Пытку поручили буковинцу с крепкими, как щипцы, пальцами. Бес говорил тихо и размеренно, и лишь вспышки ярости, дремавшие в фалдах его безупречно сшитого концертного костюма, вспарывали его безупречную русскую речь, — так гвоздики, не вбитые, а лишь насаженные, прорывают гробовой креп.

Только услышав голос тирана — высокий, как милицейский свисток, — я терял дар речи. Казалось, этого он только и добивался. Ведь, войдя в раж, почувствовав власть над трепещущей душой, деспот бил смычком по моим ладоням, а потом называл «ёлопом», что на львовском диалекте означало «болван».

А чтобы тупость моя была очевидной и для матери, палач велел мне вызубрить «Концерт» Ридинга, который и стал моей плахой на два ближайших года. И в самом деле, всякий раз, приходя на экзекуцию, я лишался части собственного «я», как приговорѣнный к четвертованию — руки или ноги.

Я лез из кожи вон, чтобы угодить мучителю: часами простаивал у попитра, пел ноты, как пономарь, и даже скособочился (левое плечо выше, правое ниже), но скрипка, похоже, лишь смеялась в моих руках. К тому же Ридинг, о чём падший дух говорил, ядовито улыбаясь, только и делал, что «переворачивался в гробу», и мне даже стало казаться, что дух композитора вот-вот восстанет из ада, — а куда ещё, думал я, попадают мучители детей, как не в самое пекло?!

Я был жалок. Я таял на глазах. И однажды, ужаснувшись, мать просто выщиганила меня у «Носатого», чтобы привести к «Виртуозу», который «уж точно знал, как развить слух».

Это был высокий русский в твидовом пальто и широкополой шляпе, с длинными,

как у Паганини, пальцами. Одет щёголь был с иголки, ходил циркульным шагом и поминутно заглядывал в мои глаза, точно отыскивая в них искру божью.

Но Бог, похоже, слепил меня из муки грубого помола, в которую не кладут серебряных монет и которую не присыпают сахарной пудрой. К тому же узкие, как у мурзы, щёлки мои покрывала поволока, сотканная из горя и неприкаянности. Скрипку я ненавидел люто. А ещё я верил, что Бог, которого нет и которого выдумали, наверняка протянет мне руку — стоит попросить.

Случай не заставил себя ждать. Предстоял концерт, на котором решался вопрос о моём переводе в следующий класс. Начал я с того, что не вступил, когда сыграв «увертюру», пианист с копной седых, как у Листа, волос тупо уставился на меня. Он повторил «зачин», кивая мне каждый такт, точно протезист, вложивший костыли в мои слабеющие руки. Я вступил, но пока добирался до середины пьесы, раз десять сфальшивил, взяв на полтона ниже там, где следовало взять выше.

Казалось, я должен был сгореть от стыда, но не тут-то было. С каким-то дьявольским удовольствием я провёл *целым* смычком там, где требовалась *половина*, сыграл вместо восьмушек шестнадцатые, бемолям предпочёл дизезы и вообще — камня на камне не оставил от мелодии. Я был в ударе. Ноты срывались с моего смычка, как перезрелые, забродившие сливы. О, что тут началось! Зал загудел, как потревоженный улей. А один сердобольный старичок, вскочив, предложил «прервать детоубийство» — ведь нельзя же, в самом деле, наслаждаться муками ребёнка! Этот аргумент, однако, лишь раззадорил меня. Я почувствовал власть над публикой. Я ощущал себя матадором с мулетой в руке. Я вонзал шпагу в бьющееся сердце Ридинга, не оставляя его концерту ни единого шанса. Я ликовал. И было от чего: наконец-то я взмылил лошадку по имени мечь, то пуская её галопом, то рысью, то иноходью. Куражась, я выискивал глазами «Виртуоза», чтобы прочесть на его каменном лице ужас, который и должен был, по моему замыслу, послужить мне ключом к свободе. Я узнал учителя по рукам. Он сидел на последнем ряду, залепив лицо длинными, как у Паганини, пальцами.

Издав предсмертный хрип, музыка умерла. В ту же секунду публика разом выдохнула, точно пассажиры автобуса, увернувшегося от грузовика.

Первым вскочил «Виртуоз». Отлепив от лица пальцы — точно сбросив с головы осьминога — он решительно подошёл к матери и, сложив молитвенно ладони, заикаясь, потребовал «перестать му...учить музыку!» «Да и ребёнка, — добавил он, вскинув указующий перст, — не мешало бы по...ожалеть!»

Мать уменьшалась на глазах с каждым его напутствием, и казалось, ещё минута, и она растворится. Но, выплеснув всё, что у него накипело, выговорившись, «Виртуоз» сбежал.

Домой мы возвращались молча. А войдя в комнатку, также молча, не поужинав, легли спать. Утром, всплакнув, мать отправилась в школу, чтобы забрать документы. Я молча смотрел ей вслед. Бедная, несчастная «ма». Я хотел даже зареветь, чтобы не чувствовать себя уж слишком счастливым и чтобы никто не догадался, на какие хитрости я пустился, чтобы вернуть отобранное детство. Но слёзы упрямылись. Слёзы не желали выкатываться. А вот сердечко моё звенело. И было от чего звенеть... Я не должен был больше зубрить урок, разбираться в легато и стаккато, пиликать назло родне, получая горсть мелочи в награду. А ещё я перестал чувствовать боль в пальцах, изрезанных струнами. Но главное — я был избавлен от муштры! Навсегда! Навеки!

Этим всё бы и закончилось, если бы не одно «но». Утерев нос скрипке, заткнув музыку за пояс, я стал тосковать по своим обидчицам. Да, представьте. Я испытывал фантомные боли, как солдат, вернувшийся с войны без обеих ног. Правда, сегодня, спустя годы, я не склонен себя оправдывать. Я был своеволен, заносчив и не любил музыку — не любил и не знал. А ещё не любил музыку — не любил и не знал. Не знал, что за приязнь, которую к ней питаешь, музыка не сулит: ни наград, ни воздаяния, ни мзды — ничего, что могло бы утешить. Музыка безответна — вот что так мучает нас и что повергает в уныние. И если искусство что и бросает нам, как кость, так это — крохи, которые гении забыли смахнуть со стола. Но я был слишком голоден, чтобы хранить их долго. И крошки, оставленные кем-то на столе, всегда собирал в кулачок, чтобы сунуть в рот.